



Сергей Фомичёв

Все
КОСЯКИ
МИРОЗДАНИЯ

Сергей Фомичёв

Все косяки мироздания

«Издательские решения»

Фомичёв С.

Все косяки мироздания / С. Фомичёв — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-746395-3

Если долго плыть по течению, то проплывёшь мимо сидящего у реки китайца. В обычной пятиэтажке постсоветского переживающего упадок городка живут то ли сумасшедший, то ли гениальный учёный-самоучка Ухтомский, революционер-неудачник по прозвищу Чё Гевара и предводитель бродячих собак Маугли. Ухтомский занят разработкой оригинальной космогонической теории. На него выходят агенты Ватиканской спецслужбы и предлагают работу. А тем временем в городе начинают происходить странные вещи.

ISBN 978-5-44-746395-3

© Фомичёв С.
© Издательские решения

Содержание

Глава 1	6
Глава 2	18
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Все косяки мироздания

Сергей Фомичёв

© Сергей Фомичёв, 2016

© Вероника Беседина, иллюстрации, 2016

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Глава 1

Где-то раздался скрежет и стук. Где именно – понять невозможно. Система отопления разносила звуки по всему дому, искажая их и надёжно скрывая первоисточник. Такая себе система вещания. Трубы играли роль проводов, радиаторы брали на себя функцию приёмников и репродукторов. Иногда, особенно по ночам, в тишине, отопительный контур транслировал шепчущие голоса или едва различимую музыку. Обитатели дома, кто не спал, прислушивались, стараясь разобрать слова и мотивы, но всякий раз безуспешно. Едва чудилось что-то знакомое, осмысленное, как тут же ускользало, разрушалось, рассыпалось на отдельные ноты и буквы. Возможно, и шёпот и мелодия были просто игрой воображения, отголоском естественных звуков, вызванных течением воды сквозь обросшие изнутри ржавчиной и известью трубы, шуршанием отстающей под обоями штукатурки, осадкой старого здания и чёрт его знает какими ещё причинами.

Ухтомский имел на этот счёт особое мнение, которым предпочитал ни с кем не делиться, то ли опасаясь прослыть сумасшедшим, то ли всё ещё сомневаясь в гипотезе. Он предполагал, что так говорит со смертными Великий Аттрактор. Иногда Ухтомскому удавалось услышать отрывок послания и даже расшифровать какой-то фрагмент, но сон брал своё, а к утру он уже всё забывал. Впрочем, именно сейчас его гипотеза не имела значения. Утро давно уже наступило, призрачное ночное вещание закончилось, а непонятные прежде звуки сформировались во вполне отчётливую руганью и локализовались шумной вознёй на лестничной клетке.

Размеренное течение мысли сбилось, точно споткнулось о внешние звуки. Ухтомский раздражённо закрыл тетрадь, надписанную как «Введение в теорию Копросферы» и мимо­лётно отметил, что всякий предмет исследований неизбежно проявляет себя в реальности, и мало того – пытается на эту реальность влиять. Своеобразная вариация детерминизма Шредингера-Гейзенберга, который признает зависимость явления от наблюдения. Принцип работает не только в микромире. И примеров тому не счесть. Ведь стоило учёным, скажем, открыть ближние астероиды как те сразу же начали угрожать Земле, а после открытия рака это заболевание стали находить едва ли не у каждого второго пациента. Чего уж говорить о вещах социальных и философских, которые самой своей сутью призваны влиять на мыслящие существа и неизбежно влияют, едва кто-то берёт смелость сформулировать и описать очередное понятие. Но с другой стороны, как-то противостоять такому положению вещей было делом абсолютно бессмысленным, а раз так, то лучше всего смириться и не тратить попросту нервы.

Шум усилился, доносясь уже из-под самой двери квартиры. Точно дверь эту кто-то пытался поддеть монтировкой за петли.

– Надо выбираться из этого чёртового города! – твёрдо решил Ухтомский.

Эта счастливая мысль приходила ему в голову по несколько раз на день и, как и всякая другая лишённая путей к воплощению мысль, она со временем превратилась в заурядную присказку. Как превращались в ритуальное ворчание все прочие политические мемы про «эту страну» и «этот город».

Пока он обувался, лестничная возня переместилась куда-то вниз, к тамбуру и выходу из подъезда, и тогда Ухтомский осторожно приоткрыл дверь. Увиденное заставило его вздрогнуть: зловещий трассер бурых пятен на пыльных бетонных ступенях отмечал путь нарушителей тишины.

– Ещё трупы нам только и не хватало, – проворчал Ухтомский, представив как тело ко­го­нибудь из его взбалмошных соседей, другие не менее взбалмошны соседи отгаскивают втихаря (хотя получилось не совсем втихаря) на мусорную свалку.

С трудом поборов естественное для Ухтомского-обывателя желание плюнуть на всё и вернуться в квартиру, он дал волю Ухтомскому-исследователю и решил прояснить мрачную

историю до конца. Мягко ступая, стараясь ничем не привлечь внимание возможных преступников, он спустился по лестнице и увидел в сумраке тамбура совсем не зловещих, а в чём-то даже комичных Чё Гевару и Маугли.

Промысел их тоже вызвал скорее улыбку, чем неприятие или злость. Бурые пятна оказалась вовсе не кровью, а густой ржавой жижей, капающей из отверстия в свинченной батарее. Именно её, тяжёлую, из дюжины секций, соседи и тащили то и дело роняя на ноги и сбивая в крошку углы ступенек.

– Вы бы хоть в собственном подъезде батареи не свинчивали, – раздражённо сказал Ухтомский, обращаясь прежде всего к Чё, так как с Маугли спрос всегда был невелик.

Однако, не обнаружив трупа, он всё же вздохнул с нескрываемым облегчением.

– А чё? – пожал плечами сосед. – Пятый этаж же. Там давно никто не живёт.

– Не живёт, – согласился Ухтомский. – Но вот когда включают отопление, то зальёт всех. Начиная с тебя, между прочим.

– Я соединил трубы. Чё ты? С паклей и всеми делами. Да всё путём, не парься. – Чё махнул рукой, потом пожал плечами. – К тому же отопление не включают. Баста, карапузики! Конец нашему городку! Растащили до доньшка.

– Типун тебе на язык, – отреагировал машинально Ухтомский. – Такие вот и растащили.

– А чё?! – усмехнулся Чё. – До основания, а затем, ... как говорится.

Несмотря на свои тридцать пять лет, он всё ещё играл в революционера. Строил дерзкие планы, искал новый революционный класс или хотя бы суррогат такового среди бомжей и городских дикарей вроде Маугли, сочинял воззвания и раскидывал их по почтовым ящикам, нисколько не смущаясь тем фактом, что ворох бумаг из почтовых ящиков перемещается абсолютно нечитанным прямиком в пункт приёма макулатуры.

Практическая же деятельность Чё ограничивалась в последние год-два тем, что он время от времени тырил продукты из супермаркета. Урон для мировой экономики от таких вылазок конечно же был невелик, но и эта непримиримая борьба с капиталом закончилась сразу, как только единственный на весь город супермаркет закрылся.

Маугли молчал, равнодушный и к революции, и к украденной батарее. Никакое дело не могло овладеть им в степени достаточной для переживания. Он никогда не отказывался помочь товарищам, даже если те предпринимали какую-то, с его точки зрения, совершенную глупость, однако, всякий раз, как и сейчас, выглядел отстранённым, как будто отсутствовал в этой реальности. Чё наверняка попросил парня помочь дотащить батарею и Маугли не отказал. Но и застигнутый на краже Ухтомским, вины отнюдь не чувствовал. Молодой дикарь принадлежал будущему, в то время как Чё слишком уж задержался в прошлом.

А ты? Где твоё место, Ухтомский? В настоящем? Вряд ли. Оно вовсе не выглядит привлекательным. По крайней мере, он не стал бы сражаться за такое настоящее с горячностью Чё, и не хотел воспринимать его как данность подобно Маугли. Если его место и в настоящем, то не в этом, а в каком-нибудь альтернативном настоящем, какое могло сложиться, но так, увы, и не сложилось.

– Помоги, чё стоишь? – неожиданно наехал Чё на задумавшегося соседа, будто тот с самого начала был в деле. – Тяжёлая, блин.

Разрабатывать свою великую теорию Ухтомский начал с обычных жизненных наблюдений.

Каждую зиму на скованных льдом реках рубятся проруби. Чаще не рубятся, собственно говоря, а пилятся бензопилами, но это не имеет значения. Затем проруби освящаются иерархами церкви и нарекаются Иорданиями. Наступает Крещение. Станный для северных широт

праздник, приходящийся, случайно или нет, кто разберёт, на самые лютые морозы. Они так и называются – крещенскими. Несмотря на это обстоятельство тысячи паломников стекаются к купелям и погружаются в них с головой, смывая с себя накопившиеся за год грехи.

И вот ведь что интересно: до Ухтомского никто даже не задумывался, куда всё это смытое дерьмо потом девается? А стоило бы задуматься. Дерьмо ведь не может пропасть просто так, бесследно. Законы природы не позволяют. И ладно бы дело касалось одного какого-то культа. Планета перетерпела бы. Но подобное происходит повсеместно и тянется с седой древности. Миллионы людей очищают себя в Ганге на всём его протяжении – от чистых ручейков в Гималаях, оккупированных монастырями, до перенаселённой и грязной дельты. А во что за две тысячи лет превратился Иордан? А ведь до того были другие реки и другие источники загрязнения.

Было бы ещё полбеды, если бы смытое с людей дерьмо просто сплавлялось по рекам, собиралось в глубоководных впадинах и, в конце концов, превращалось бы там, например, в нефть. Нефть потом извлекали бы с помощью морских буровых платформ, и дерьмо, таким образом, возвращалось бы в оборот. Осветительные приборы, двигатели внутреннего сгорания, нефтехимия, войны. Обладая определённым типом фантазии, можно было бы даже предположить, что дерьмо поглощает какой-нибудь Ктулху, или гигантский кракен, или иной мифический персонаж, живущий в океанских глубинах. И вот он собирает человеческое зло и копит его, чтобы выплеснуть в мир в часы эсхатологического финала.

Но Ухтомский в кракенов не верил, предпочитая чисто научный подход. Он интуитивно чувствовал, что все придуманные гуманитариями спекуляции, вроде закона Мёрфи, о том, что всякое дерьмо обязательно случится; или закона Старджона, гласящего, что девяносто процентов чего угодно является в сущности дерьмом, были лишь частными, притом умозрительными следствиями какой-то общей теории, каковую ещё предстояло осознать и сформулировать. И гуманитарии здесь оказывались бессильны. А только физика, в тесном взаимодействии с космологией и кучей иных дисциплин, могла объяснить подобный сложный феномен. Ведь было бы большим упрощением сводить проблему дерьма лишь к физиологии и органической химии. Эта версия плавает на поверхности, так сказать, и ей занимаются МЧС и экологи. Дерьмо же подлинное, не органическое, случалось и случается повсеместно и имеет всепроникающий универсальный характер.

Делая частые остановки на передышку и смену рук, они потихоньку пересекли двор.

То, что называют дворами в городах с массовой застройкой, мало чем походит на колодцы старых купеческих городов. Разве только названием. Обширное пространство между многоэтажными домами не выглядит изолированным мирком и ни в коей мере не является таковым. Здесь не складываются полноценные соседские общины, готовые как к бесконечной вражде, так и к спонтанной искренней взаимопомощи. Зачастую люди даже не знают друг друга. И не только в социальной среде дело, среда физическая тоже не соответствует классическому идеалу. Ведь двор, не имеющий собственной особой акустики, уже не совсем двор. Он не хранит свои звуки, а чуждые звуки города врываются в него со всех направлений и пронизывают как лучи рентгена. Ладно бы только звуки. Вместе со звуками сюда ежедневно вторгаются сотни чужих людей и машин. Звуки по крайней мере не оставляют следов, а вот люди с машинами так не умеют. Колеи и тропинки как шрамы перечёркивают современный двор во всех направлениях.

Одной из таких транзитных тропинок, что пересекала двор по диагонали, они добрались до гаражного кооператива. Полсотни типовых гаражей из силикатного кирпича стояли ровно, образуя собой несколько коротких рядов, ещё два десятка боксов были построены позже

из подручных материалов и, как правило, нелегально. Они были кривыми и разномастными, придавая кооперативу вид азиатских или латиноамериканских трущоб. Кто-то использовал шлакобетонные блоки, кто-то кирпичи от разобранной деревенской печи, кто-то просто ставил металлический бокс. На крыше одного из гаражей стояла голубятня. Пустая и разорённая как дворец Юсуповых после обыска революционных матросов.

Место это давно уже превратилось в некое подобие чёрного рынка. В отдельных боксах ещё ржавели автомобили, но большинство кирпичных и железных коробок занимали импровизированные лавочки легальных и нелегальных торговцев. Впрочем, грань между первыми и вторыми давно уже стёрлась, как и та мелочь, что крутится здесь в качестве средства обмена.

Подходы к гаражам были завалены всевозможным хламом. На гудах строительного мусора, словно стайки островных птиц на скалах, расположились бомжи. Не просто так, но с расчётом: если вдруг нагрянет патруль, они, как и птицы, увидят его загодя, взметнутся с мест и разлетятся по ближайшим дворам, а если появится клиент, предлагающий халтуру, мигом слетятся на него точно на китовую тушу.

Настоящие птицы – чайки, голуби и вороны – облюбовали помойку, когда-то обнесённую кирпичным забором, но давно уже переросшую все границы. Контейнеры последний раз менялись во времена оны, отчего они давно скрылись под горами отходов. Мусорный поток, как ни странно, не иссякал, хотя население окружающих домов сильно поубавилось за последние годы. Чёрные мешки приносились и складывались к подножью смердящей кучи, точно подношения злему божеству возле капища, а потом пластиковые тушки вспарывались клювами и когтями, ножами и пальцами мусорных демонов, внутренности разбрасывались вокруг кишками туалетной бумаги, склизкими потрохами упаковки, картофельных очисток и прочей органической гадости.

Птицы и бомжи настороженно смотрели друг на друга. Они конкурировали за экологическую нишу. Волокущую батарею троичу и те и другие восприняли с недоверием, словно она могла вмешаться в расклад, нарушить сложившееся равновесие. Их подозрения не лишены были оснований – Маугли недвусмысленно косился на аппетитных раскормленных голубей, а рукав его рубашки топорщился из-за спрятанной там дубинки.

Металлолом принимался у населения в одном из крайних боксов, но, поскольку всё железо туда не вмещалось, хозяева самовольно оттяпали и огородили рабицей небольшой кусок общественных территорий.

На приёме сидел Толик – молодой, но потрёпанный уже бычок, по какому-то недоразумению переживший гангстерские войны старых добрых времён и последующую зачистку карательными органами криминальной поляны. За бурную юность он так и не сколотил приличного капитала и, за неимением иных способностей, был приставлен новыми хозяевами к металлолому. Толик не относился к числу местных старожил. Он приезжал сюда утром на ржавом пикапе, а после работы уезжал, покидав в кузов наиболее ценное из суточного улова. Некоторые вещи пользовались спросом у антикваров, другие после очистки и восстановления можно было перепродать здесь же на рынке. Это был его маленький собственный бизнес, на который хозяева, оперирующие тысячами тонн металла, закрывали глаза.

Облачённый в старые спортивных штаны и линялую майку Толик устроился на полуманном кресле перед децимальными весами и, казалось, получал искреннее удовольствие и от утреннего солнышка, и от непыльной работы. Что, в общем-то, было вполне понятно. Половина его приятелей потихоньку гнила в песчаном грунте под мраморными надгробиями на местном кладбище, а другая половина гнила гораздо быстрее в тюрьмах, разбросанных по огромному пространству страны.

– Пятсот рублей, – сказал Толик, даже не утруждая себя двигать гирьками на весах. На сколько тянет батарея из дюжины секций, он знал и без взвешивания.

Как всегда Толик сбросил с реальной цены сотню-полторы, предлагая или согласиться с наглым грабежом или тащить чёртово железо назад. Монополия процветала. Жаловаться всё одно некому и ругаться бессмысленно.

– Мы тебя повесим на фонарном столбе, как только придём к власти, – пообещал Чё, принимая деньги.

Толк зевнул и отвернулся. Он не верил в приход к власти таких как Чё. Иногда Ухтомскому казалось, что и сам Чё в это не верит. Храбрится, строит планы, но где-то в душе уже не верит в свою революцию.

Маугли вытащил из рукава дубинку, сделанную собственноручно из полированной кроватной стойки и отправился на охоту к мусорным залежам, а Чё прошёлся вдоль боксов, прицениваясь к продуктам и самогону. Привоз был невелик, а цены опять выросли, и он, похоже, не решаясь сразу потратить деньги, остановился, как бы раздумывая, возле молодого черноволосого китайца. Тот был в очках, в потёртых джинсах и клетчатой рубашке навывпуск, и сидел на пустом ящике перед такими же как у Толика весами у гостеприимно распахнутых ворот четвёртого бокса. Ещё вчера этот бокс был заперт массивным замком, а теперь, прилепленное по углам скотчем на проржавевшей створке ворот висело объявление:

«Принимаем ломаный асфальт. 10 руб. за кг.»

– Ты кто? – спросил Чё китайца.

– Хай Вэй, – ответил тот и улыбнулся.

– Хайвэй? Так тебя зовут?

Обычно здешние китайцы брали себе русские имена, как бы подчёркивая тем самым лояльность к стране пребывания или не желая дразнить медведя. Этот же решил, похоже, отбросить нелепые предрассудки. Так что Чё, разумеется, насторожился. С непонятным и быстро растущим раздражением, он заглянул внутрь. Однако бокс оказался пуст.

– Чё, не идёт бизнес? – сочувственно заметил Чё, решив сменить гнев на милость.

– Только сегодня открылись, – улыбнулся китаец.

Для азиата он хорошо говорил по-русски. Почти без акцента. Пока Чё морщил лоб, пытаясь разобраться в новом поветрии, китаец продолжал улыбаться. Все великие народы улыбаются и друзьям, и врагам. Такая уж у них, у великих народов, особенность.

– Это что, шутка? – спросил Ухтомский, в свою очередь прочитав объявление.

– А вот сейчас и проверим, – хмуро бросил Чё.

Не обращая внимания на вялые возражения Толика, которому было попросту лень отрывать задницу от удобного кресла, Чё выудил из кучи вторсырья ломик и направился к ближайшей асфальтированной площадке. Словно стервятники хромающую кобылу, бомжи проводили его дружным взглядом.

Строго говоря, бомжами никто из них не являлся. Определённое место жительства имелось теперь у каждого. За последние несколько лет в окрестных домах появилось довольно пустых квартир, покинутых прежними обитателями. Так что ночевать на улице некоторые из этого племени оставались исключительно в силу традиции.

Раньше асфальт во дворе перекладывали каждый год и всякий раз плохо расчищали место работы, а то и вовсе его не расчищали, вываливая свежую порцию сырья в лужи, в грязь, отчего покрытие вскоре начинало сходить слоями, точно обгоревшая на солнце кожа. Чё парой точных ударов отколол несколько массивных кусков, сложил их один на другой, как детскую пирамидку, и, пригибаясь от тяжести, притащил товар к боксу. Сейчас сосед Ухтомского представлял собой сжатую до предела пружину и готов был к любому повороту событий. Например, к тому, что китаец под весёлый гогот бомжей объявит о шутке и народ примется хлопать

простака по плечу. Вот тогда-то щёлкнет спусковой механизм революционного гнева, пружина распрямится и Чё разом за всё отыграется: и за глупый розыгрыш, и за возросшие на рынке цены, и за вороватого приёмщика металлолома. Он где-то даже желал, наверное, чтобы вышло именно так. Больно уж накопело.

Но щелчка не последовало. Улыбчивый китаец, подвигал гирьки на шкале весов и, быстро подсчитав в уме сумму, спокойно выложил в ладонь клиента столбик пятирублёвых монет.

Едва монеты звякнули, бомжи сорвались с мест.

– Ломик не трогать! – крикнул вдогонку им Чё.

Ухтомский хмыкнул.

Привлечённый шумом и суетой, к ним подошёл Маугли. На его поясе висела пара свежих голубиных тушек. Мёртвыми они не казались такими жирными. Маугли прочитал объявление, огляделся, восстанавливая картину событий. И... ничего. Открытие торговли асфальтом не произвело на дикаря впечатления.

Но, как и прежде, он молчаливым кивком согласился помочь приятелям.

– Знаешь брошенную дорогу по пути к затону? – спросил Ухтомский. – Помнится, мы на ней в детстве червей собирали, когда на рыбалку ходили. Откуда они только там брались – песок же кругом. Но асфальт там хороший и не нужен никому.

Он подумал.

– Хотя, если честно, мне всё это сильно не нравится.

– Дерьмо, – согласился Чё и сплюнул.

За всё дерьмо, происходящее во Вселенной отвечают копроны. Это такие элементарные частицы. Вот они и отвечают за дерьмо, точно также как тахионы отвечают за мыслепередачу, хроны за время, а бозоны Хиггса за массу. То, что частицу ещё не сумели вычислить и расколоть физики на своих больших и малых коллайдерах, не зафиксировали какие-нибудь хитрые детекторы, ровным счётом ни о чём не говорило. То, что до Ухтомского её не предсказали гипотетически, ни о чём не говорило тоже. Никаких особых доказательств тут изобретать не нужно. Дерьма вокруг предостаточно, каждый может его видеть и чувствовать, иногда даже с большей уверенностью видеть и чувствовать, нежели неуловимое время или неверную массу, а раз так, то должна быть и частица, которая за него отвечает.

Вселенная, по мнению Ухтомского, была пропитана дерьмом от края до края, где бы не терялись её края; с самого начала, с того самого пресловутого Большого Взрыва, и до самого конца, каким бы он ни был – Большим Сжатием, Большим Разрывом или Большим Замерзанием. Кстати говоря, и сам Большой Взрыв стал, скорее всего, результатом дерьма, случившегося в ином континууме, в каком-нибудь параллельном мире; и ничего, что этот пук в нашем ограниченном Стандартной моделью пространстве выглядел и трактовался учёными как миропорождающая вспышка. От этого он не перестал быть обычным пуком.

Была в популярном списке гипотетических частиц ещё одна замечательная частица под названием курватон. И довольно долго Ухтомский боролся с искушением возложить ответственность за дерьмо именно на неё. Очень уж звучным показалось ему название, да и свойства оказались близки к прогнозируемым. Но курватоны отвечали всего лишь за флуктуацию кривизны пространства, за всевозможные загогулины, так сказать, а этого было недостаточно для объяснения всех аспектов дерьма, хотя с загогулинами оно имело определённое сродство.

Ещё один постулат, предложенный Ухтомским гласил, что дерьмо не случается в одиночку. Одно дерьмо обязательно тащит за собой другое, а это означает, что оно способно к вза-

имдействию и даже к созданию своеобразного поля, и потому гипотеза копросферы стала следующим логичным шагом в его философских изысканиях.

Сделай Ухтомский своё предположение десятилетием раньше, его непременно упекли бы в психушку, в лучшем случае опубликовали бы в журнале под рубрикой «физики шутят». Но как раз подоспели времена, когда пышным цветом расцвели эзотерика и метафизика, пошёл спрос на тайные знания и откровения. Возникали повсеместно самозванные академии и, плодясь тем хитрым методом, что в биологии носит название шизогонии, выбрасывали в окружающую среду толпы скороспелых академиков. Словно сыновья лейтенанта Шмидта по стране разгуливали изобретатели тепловых насосов и торсионных двигателей, ниспровергатели законов термодинамики и небесной механики. Люди затачивали лезвия под полыми пирамидами и мастерили шапочки из фольги. Знания перестали иметь вес и цену.

Но ведь не наступи это странное рваное время, вряд ли бы Ухтомский вообще додумался до своей теории. Ему просто не хватило бы жизненных наблюдений, созерцания всех тех многочисленных истоков дерьма, что возникли вдруг повсеместно, взбухли и слились в едином потоке, устремляясь к неведомому океану с мифическим Ктулху. А с другой стороны, самого Ухтомского, не имеющего навыков выживания, неизбежно смело бы этим потоком, и он запросто затерялся бы в безбрежном океане ложных и сомнительных знаний, населённом хищными и скользкими обитателями и заросшем саргассами интриг. Его сожрали бы хищники, или он захлебнулся бы грязной жижей. Но выплыть, пробиться к глотку свежего воздуха у него шансов не было. Тем более не было шансов получить место в шляпке.

Возможно, родился Ухтомский в солнечной Калифорнии или в Нью-Йорке, то подобно Митию Каку выпустил бы популярную книжечку и всю оставшуюся жизнь ошивался бы на телевидении, подбрасывая в топку жанра фантазии и спекуляции о Вечности и Вселенной. «Ну и как Каку? Каку как Каку». В Калифорнии ему родиться, однако, не довелось и рассчитывать он мог только на чудо. Каковое, как ни странно, случилось.

Однажды его разыскали люди из Ватикана.

Их было трое. В кожаных куртках, бритые, с тёмными очками, поднятыми на лоб а-ля Вин Дизель – такими они предстали перед ним при знакомстве. Крутые парни, если смотреть поверхностно. Вот только Дизель играл социопатических одиночек, а три его клона, держащиеся дружной командой и работающих на Римского Папу, выглядели в таком прикиде полными идиотами. Но Ухтомский не привык встречать людей по одежке и оказался прав. Три дизеля протарахтели приветствия на ломаном русском, после чего один из них помахал перед носом учёного чековой книжкой, а второй предложил продолжить исследования.

Столь странная благотворительность объяснилась просто. Ватикан переживал кризис веры. Накануне Папа отрёкся от веков мракобесия и признал не только тот удивительный факт, что Земля имеет форму шара, но и правоту науки вообще, с её методологией и аксиоматикой, с её космогонией, эволюцией и прочими базисными положениями. Католическая церковь ведомая мудрым полководцем планомерно отступила к моменту Большого Взрыва, за который наука заглянуть не могла в виду ограничений, выведенных самой же наукой. И вот там-то, вокруг неосмысленной ещё никем цитадели и купели мироздания, Ватикан занял прочную круговую оборону.

Римская Курия, как понял Ухтомский из рассказа его гостей, рассматривала отступление лишь в смысле временной, тактической меры, и окончательно с поражением не смирилась. Напротив, священство жаждало реванша и, бросив материалистам кость, не желало и далее сидеть сложа руки. Папский Совет по диалогу с неверующими, а точнее один из его тайных отделов, решил вложить немалые средства в тысячи исследований, как чудачков, сумасшедших, так и маститых учёных по всему миру, в надежде, что кто-нибудь из них достанет из шляпы кролика. Гипотеза копросферы, о которой Ухтомский и заикнулся-то всего пару раз, используя иносказание, поскольку считал её сырой, была, тем не менее, услышана кем надо, рассмот-

рена и доложена кому надо и, в конце концов, показалась Ватикану достаточно привлекательной, чтобы открыть кубышку. Ведь доказательство существования вселенского зла, по мнению клириков, доказывало и существование противоположной сущности, которую, при церковном умении манипулировать понятиями, легко можно было объявить божественной.

Ухтомскому было крайне неловко. Он всегда считал себя атеистом и, мало того, увлечённо занимался космологией. А бог, выдуманный суеверными предками, со всем его миром (даже в максимальном воплощении), оказался лишь небольшой частью того, что открыли за последние годы учёные. Пять процентов современной модели мира принадлежали свету и известной материи. Тому самому свету, который, вместе с материей, некогда был отделён от тьмы. И этот вот главный бог людей, оторвавший у вечности кусочек бытия, где он якобы властвовал, мог теперь лишь наблюдать со своего шестка за эпической битвой тёмной материи и тёмной энергии. Ведь именно там решались судьбы мира, определялся его конец. И в этой эпической битве свет был лишь иллюзией, а известная материя – мнимой величиной.

Да и заблуждался Ватикан, отождествляя дерьмо со злом. Совсем иной интерпретации придерживался Ухтомский в своих размышлениях и поисках. Но он не стал поправлять эмиссаров. Он нуждался в деньгах и потому, к стыду своему, легко ступил на дорогу обмана.

Дорога, на которую пришёл с товарищами Ухтомский, выглядела странно. Прежде всего тем, что не имела въездов и выездов. Один её конец упирался в заросший осокой и тиной противопожарный пруд, и только зимой по крепкому льду можно было перебраться сюда на машине с ближайшей грунтовки. Второй конец дороги и вовсе терялся в песках, и лишь покорители легендарного Дакара могли бы, наверное, воспользоваться таким выездом. В общем, дорога не имела смысла. Она была абсурдна.

Ходили, правда, слухи, что строили её вовсе не как дорогу, а как запасную посадочную полосу. В такой версии имелся определённый резон – полотно было ровным, широким и твёрдым. Даже летнее солнце не размягчало его, превращая в пластилин, как это происходит с иными автомобильными трассами. Пожалуй, небольшой самолёт и впрямь смог бы здесь приземлиться. Вот только зачем? Набрать ведро болотной воды, набить мешок песком? Больше ничего вокруг не было. Да и насколько Ухтомский знал, ни один самолёт здесь никогда не садился.

Они проработали целый день, начав долбить с середины, так что если полотно некогда и служило кому-то запасной полосой, то после их совместных усилий служить таковой перестало. И вот загадка русской души – почему они не начали ломать с какого-нибудь из концов, сохранив хотя бы и на время функциональность сооружения? Почему испортили вещь едва ли не первым ударом?

– Китаец этот чудик какой-то. На кой ляд ему асфальт? – недоумевал Чё, вколачивая лом в неподатливое серое покрытие.

Ухтомский и сам всё время размышлял об этом. Но придумать ничего не смог, кроме того, что нашёл лишнее подтверждение своей теории. Копросфера воздействовала на любые объекты.

– Спрос рождает предложение, – сказал он. – Значит где-то есть спрос на асфальт.

– Бред.

– Что именно.

– Эта формула. Выдумка экономистов. Потребительский спрос никогда не определяет предложение. За исключением самых примитивных вещей, он попросту не может быть сформулирован. Предложение навязывает спрос, вот и весь разговор. Но!..

– Но?

– Но в том случае, если спрос исходит от капиталистов или элиты, а предложение могут удовлетворить широкие народные массы, этот тезис работает. Повесил буржуй объявление «принимаю асфальтовый лом», а мы и рады стараться. Понимаешь, о чём я?

– Нет, – признался Ухтомский.

– Всё определяют капиталисты, а спрос это или предложение, зависит от ситуации.

– Пожалуй, – вежливо согласился Ухтомский, хотя уже слегка запутался.

– А с другой стороны весьма кстати, – добавил Чё, утирая футболкой вспотевшее лицо.

– Что кстати? – Ухтомский куском арматуры попытался скovyрнуть слой асфальта, точно подгоревший блин.

– На макулатуре мы целый год продержались, – пояснил мысль Чё. – Выгребли всё из ближайших домов. На металлоломе – два года жили, и чёртова железа ещё на целую пятилетку осталось, теперь вот новое дело – асфальт. На нём столько же проживём, если не больше. А там, глядишь, ещё какой-нибудь ресурс отыщется. Кирпичи, говорят, где-то в районе старого рынка принимают по два рубля за штуку, а нет, так деревенские охотно на продукты меняют. А у нас этих кирпичей во дворе – шесть целёхоньких пятиэтажек.

– Мы страна с ресурсной экономикой в этом всё дело, – выдвинул версию Ухтомский. – Мы будем копать, пока не выработаем земную кору, а тогда возьмёмся за мантию. И начнём качать магму по трубопроводу.

– Нет, – покачал головой Чё. – Тут глубже копать надо.

– Куда уж глубже? Железное ядро в металлолом не снесёшь. Не родился ещё такой Толик, чтобы его принять.

– У кого-нибудь там, – Чё показал пальцем вверх, – во всём этом свой интерес имеется. Не иначе.

– Какой же может быть интерес в асфальтовом ломе?

– Да мало ли, – Чё уже запыхался и, продолжая бить ломом, говорил отрывисто. – Асфальт, допустим, поломаем, а что вместо него? Плитку тротуарную класть будут? Или брусчатку, допустим. Но кто-то её производит, эту плитку или брусчатку. Кто-то куш сорвёт на заказах. Только и смотрят где бы им лишний раз хапнуть. Оккупанты, чё!

– Брось. У нас и хапать-то уже некому. Разбежались все. Последний мэр, вон, из Канады не высовывается. Не до плитки ему теперь. А по десять рублей за кило лома платить? Тоже мне бизнес! Если бы он хотел заработать, то не заморачивался бы с приёмкой, а просто издал бы приказ: «Выложить тротуары плиткой!».

– Верно, – согласился Чё. – Но всё равно дело не чистое. Ты с Клейнбергом поговори, он мужик умный, объяснит, в чём тут хитрость.

– Сам и поговори.

– Я не могу, – почему-то смутился Чё. – Мы с ним по части политики не сходимся.

Маугли, скинув рубашку, работал молча, мерно, без усталости. Его загорелые плечи блестели от проступившего пота, а мощные мышцы вздувались то тут то там, словно на каком-нибудь анатомическом демонстраторе, если таковые существуют в природе. Точно так же, наверное, трудились когда-то темнокожие невольники на галерах, на хлопковых плантациях и в рудниках, когда в их сознании угасала последняя мысль о свободе – добросовестно, ритмично, но без особого интереса к работе, без огонька. Парень явно соскучился по своим собакам, а добытые на мусорной куче голуби к вечеру испортились и были облеплены муравьями. Асфальт, как и металлолом, душу явно не грел. В деньгах Маугли не нуждался, привыкнув добывать хлеб насущный на городских улицах и пустырях. Молодой дикарь стал частью новой городской экосистемы, возникшей давно, но расцветшей только теперь, когда коммунальные службы прекратили вмешательство в естественный процесс. Голуби и крысы питались

на помойках, собаки и кошки поедали птиц и крыс, а Маугли высмотрел местечко на вершине пищевой цепи и жрал всё что шевелится.

Он любил носиться со стаей одичавших собак, играя в их жоака, за что и получил от людей прозвище, но даже самая глупая болонка, чудом выжившая в жестокой игре естественного отбора, ни на мгновение не поверила бы в его дружбу. Она в любой день могла оказаться на обеденном столе, случись стае облажаться с охотой на кошек или голубей, и всегда помнила об этом.

А Маугли получал удовольствие и от предводительства в собачьей стае, и от азарта охоты, и даже от вероломства в отношении четвероногих подданных. Жестокий мир вовсе не казался ему таким уж жестоким. Он совсем неплохо устроился в нём. И всё же, несмотря на возврат к природе, парня тянуло к людям, к обществу, пусть его понимание «общения» отличалось от принятого. Он любил слушать чужие разговоры, но почти никогда не говорил сам, он часто помогал друзьям, но никогда не просил о помощи. Он просто получал от людей то, чего ему не могли дать собаки, поскольку других маугли в городе пока что не появилось.

По каким-то своим дикарским критериям, он выбрал в друзья троих – Ухтомского, Чё Гевару и Клейнберга. А быть может, всё было куда проще, и Маугли исходил из того соображения, что все они проживали в одном подъезде.

Именно подъезды в некотором смысле пришли на смену старым, изолированным от внешнего мира, городским дворам. Люди в них худо-бедно знали друг друга, общались и даже давали займы, а стараниями властей, эксплуатационных и коллекторских служб, как будто испытывающих жильцов на прочность, у тех появлялись общие проблемы. Бабушки, когда они ещё здесь водились, ходили к Клейнбергу за советами по юридической части, а у Чё спрашивали, когда будет следующий митинг протеста и не нужно ли собрать подписи под очередной петицией. На лавочках перед подъездами помимо обычного перетирания слухов и сплетен, проходили дебаты, принимались решения, вырабатывалась тактика.

Девятиэтажные дома, оснащённые лифтами и мусоропроводами, разрушили и этот эрзац старого дворика. Сфера соседства сократилась до лестничной площадки из нескольких квартир, кривая ресоциализации приближалась к точке сингулярности. Когда город начал пустеть именно высотки первыми наполнились призраками.

Пятиэтажки сопротивлялись дольше. Их обитатели тоже понемногу разъезжались, умирали, а поскольку продать квартиры за сколько-нибудь серьёзные деньги не получалось, те так и оставались пустыми. Хозяева и наследники предпочитали жить в больших городах, где надежда ещё не умерла, жизнь бурлила и имелась работа.

Старожилы же обитали в домах как в брошенных замках. Они слушали звуки отопительной системы и предавались мечтам.

Кроме них четверых в подъезде на одном этаже с Ухтомским проживал дядя Гриша – безнадежный алкоголик, ветеран многих локальных конфликтов и заварушек, на одни из которых его отправляли приказом, на другие, позже, он шёл уже добровольцем-контрактником. Войны, контузия и водка переместили его сознание куда-то в перпендикулярную реальность, где он собственно и пребывал большую часть времени, находясь в квартире только физически. Иногда, впрочем, он выныривал из морока, осматривался, словно желая удостовериться, что ничего так и не изменилось; делал что-нибудь по хозяйству, например, вбивал в стену пару гвоздей; готовил огромную кастрюлю какой-то похлёбки, наполняя запахами кислой капусты и чеснока лестничную клетку; закупал ящик водки и, таким образом закончив приготовления, возвращался в свой бред. Причём, пребывая в ином измерении, он мог выходить из квартиры

и натываясь на соседей даже разговаривать с ними, начисто, впрочем, забывая о встрече уже на следующий день.

Ухтомский научился определять его действительное местонахождение по альбедо глаз. Они всегда блестели, если дядя Гриша бродил по астралу, и были подёрнуты тусклой мутью, когда он возвращался в реальность. В свой эксклюзивный бред сосед никого не пускал. Даже проговорившись случайно, на уточняющие вопросы не отвечал, замолкал, замыкался в себе, уходил. Это был его мир, судя по всему, непростой, конфликтный, но что там творилось доподлинно, кто с кем воевал, и кто кого побеждал, оставалось для обитателей подъезда загадкой. В общем-то, никто кроме Ухтомского особенно и не стремился заглядывать в чуждое измерение, тем более такое мрачное, как мир дяди Гриши, а Ухтомского тот интересовал отнюдь не в качестве психиатрического феномена. Он просто почувствовал здесь очередную границу, очередной горизонт, за который любопытно было бы заглянуть. Он верил, что все горизонты имеют схожую природу.

Горизонтом событий он бредил с детства. Когда и термина такого ещё, кажется, не существовало, и космологические концепции были попроще, приземистей что ли, а чёрные дыры считались всего лишь математической моделью, очередной абстрактной гипотезой, каковых в те времена плодилось в изобилии. Но сколько себя помнил Ухтомский, он всегда мечтал заглянуть за край мироздания.

Ещё до того как вплотную заняться копросферой, он написал несколько заметок о возможной природе чёрных дыр. Заметки были опубликованы несколькими газетами, а по почте даже пришли небольшие денежные переводы. Ухтомский приготовился к шквалу вопросов, предложений, критики, к бурной реакции научного сообщества. Но ничего такого не последовало. Тем более не последовало просьб об интервью, приглашений на симпозиумы, выдвижений на премии, заказов на книги. Он собрался с духом и написал пространную статью, изложив концепцию более целостно. Но рукописи, разосланные им по редакциям популярных изданий, летели в корзину или терялись где-то по дороге. Гораздо более странные и спорные тексты весьма сомнительных авторов публиковались в товарных количествах, а ему даже на письма не утруждались отвечать. Что это, заговор, пренебрежение к провинциальному мыслителю, просто невезение? Иногда Ухтомскому казалось, что если бы он вдруг слетал в космос или покорил бы вершину К-2, его обязательно забыли бы упомянуть среди тех, кто летал и покорял.

И вот что ещё тяготило – некого было спросить, посоветоваться, не с кем обменяться идеями. Ни одного коллеги, пусть даже и оппонента, у Ухтомского в городе не нашлось, никого из тех, что мелькали на телеэкранах, он лично не знал. И в этом смысле он был в типичном положении многих самородков провинции.

В столицах, крупных городах и у литераторов имелись свои «дома», и у кинематографистов, и у журналистов, и у архитекторов. Имелись, разумеется, свои дома и у учёных. И пусть они слыли рассадниками сплетен и интриг, всё же человеку вхожему можно было получить совет от коллег и держаться в курсе последних веяний.

Но существовал один нюанс. И литератором, и кинематографистом и уж тем более учёным, считали отнюдь не всякого, кто называл себя таковым. Для фигур вроде Ухтомского в иерархии столичных и региональных тусовок отводился разве что Дом колхозника.

Тусовки уже давно стали средой, определяющей генеральное направление развития, заменив собой прежние элиты или академические структуры. Тусовка не элита, не академия. Она не пытается применить «Гамбургский счёт», в принципе не стремится к объективности. Тут всё за висит от личных отношений и только. А вход в тусовку открывает не уровень познаний, не потенциал, а обычная коммуникабельность, «вписываемость» претендента в коллек-

тив. В литературе и искусстве тусовка фактически определяет судьбу произведения, в политике – судьбу целой страны. Научная же тусовка может превратить одну из множества гипотез в ведущую, в почти что истину безо всяких на то оснований. И, значит, науку в будущем ждёт множество откровений, осознания тупиковых путей, вроде старого доброго флогистона.

Нормальный человеческий тёплый ответ от научного мира Ухтомский получил лишь однажды, в далёкие и счастливые школьные годы, когда юные пионеры могли запросто получить письмо хоть из самой Академии Наук. Тогда он предпринял первую попытку атаковать горизонт событий. Разумеется, неудачно. Предложения Ухтомского-школьника выглядели наивными, а красивая и тщательно проработанная концепция разрушилась о некоторое количество пока ещё незнакомых пытливому школьнику физических законов и понятий, о чём ему и сообщили в ответном письме старшие товарищи, отметив, однако, со всей благосклонностью любознательность, стремление к знаниям и даже некоторую дерзость молодого дарования.

С возрастом и накопленными знаниями мечта не исчезла. Даже укрепилась. И уже появились нужные термины и разнообразные концепции. И его собственная теория копросферы уже подбиралась к некоторым решениям и неожиданным выводам, все следствия которых ещё предстояло осмыслить.

Вот Чё – человек иного склада. Он черпал вдохновение из источников близких к мифу, но не к науке, а потому в иные горизонты кроме революционных не верил. Он считал, что у дяди Гриши такая хитрая разновидность «белки» – с виду тихая, безмятежная, основанная на внутреннем конфликте и внутреннем буйстве, а не на маниакальном поиске внешних раздражителей. И хорошо, что такая, иначе им пришлось бы выслушивать бесконечные эскапады про «колчаковские фронты», ну, или что-то подобное. И тогда неизбежно нашёлся бы повод для взаимных упрёков и ссор. А параллельные реальности, как известно, не пересекаются. Оно и к лучшему.

Глава 2

Единственный во всей округе кабак располагался сразу за гаражами. Раньше здесь стояла котельная, снабжающая теплом дюжину окрестных домов. В её кочегарке трудились ожидающие своего часа рок-музыканты и диссиденты, бросали в топку уголь и мечтали о признании или потрясении устоев. Потом отопление стало газовым и централизованным, что считалось более экономичным. В теории. На практике магистральные трубы протянули за несколько километров и к тому же снабдили плохой изоляцией. Заодно с домами, и даже прежде домов, трубы прогревали несколько пустырей и длинный тротуар соседней улицы, так что самыми суровыми зимами асфальт на ней оставался сухим и свободным от снега, точно дорогуший собрат где-нибудь в центре Хельсинки или Стокгольма. Этот удачный побочный эффект теплоснабжения омрачался тем, что асфальт часто вскрывали, чтобы поменять трубы, которые ржавели со странной периодичностью, совпадающей с периодами смены власти. И вот тогда пройти незамерзающим тротуаром становилось невозможно совсем.

Котельная довольно долго стояла в резерве на случай мирового апокалипсиса, пока вместо него не наступили новые времена. А тогда её наспех распродали с аукциона. Именно распродали, а не продали целиком и, например, Толик и его конкуренты выбрали всю начинку – чугунные колосники, теплообменники, котёл с топкой и бесчисленные метры труб, включая и огромную дымовую, для демонтажа и вывоза которой пришлось вызывать специальную технику.

А вот на кирпичную коробку с большими закопченными окнами покупателя долго не находилось. Для бизнеса она выглядела слишком мрачной и тёмной, к тому же располагалась во дворе, вдали от торных путей, и притом была слишком просторной, требующей теперь (вот ирония) больших расходов на отопление. Даже просто снести здание стоило бы значительных средств, каких в бюджете не находилось и в более сытые времена. Так что Феликсу бывшая котельная досталась почти за бесценок.

Кафе Феликса было единственным коммерческим заведением, которое не пробуждало в Чё революционных инстинктов. Он не стремился ни повесить хозяина на фонарном столбе, ни устроить экспроприацию. Возможно, в его системе координат этот феномен значился неким подобием водяного перемирия, своеобразной нейтральной территорией, ведь нужно же было где-то встречаться с товарищами, соседями и обсуждать новости. Возможно. Хотя Ухтомский подозревал, что в глубине души у его приятеля ещё сохранились мелкобуржуазные пережитки, и вместо того, чтобы пить самогон на пленере, он с куда большим удовольствием сидел за чашечкой кофе или рюмкой коньяка, слушая фортепиано или перебрасываясь с приятелями умными мыслями. Он даже садился иногда за покерный стол и спускал излишки денежной массы, если таковые вдруг возникали. Но никогда, впрочем, не увлекался, не лез в долги и не мечтал сорвать банк. Весь его азарт уходил в революцию, а карточная игра была лишь средством расслабиться.

Да буржуазность то и дело пробивалась через революционный загар Чё. Всё же он был горожанином, а город, каким бы пролетарским с рождения ни был, должен иметь хоть небольшой налёт буржуазности. Иначе это будет уже не город. Рабочий посёлок, спальный район – всё что угодно, только не город. А ведь сколько копий было поломано на протяжении истории из-за такого нехитрого тезиса. Недаром даже слово, обозначающее горожанина, имеет в русском языке много оттенков. Их столько, что для обозначения всех нюансов пришлось позаимствовать слова из других языков. Буржуа означает у нас одно, а буржуй нечто иное. Слово бюргер играет своими красками, отличающими его от, например, мещанина. Ну и, конечно, гражданин. Это слово само по себе многозначительно и звучит всякий раз по-разному. Одно дело, когда его произносят с пафосом в речах политических, отсылая к чему-то там исконному, свя-

занному с Мининым, и другое, когда оно вылетает из уст мента или чиновника, дожимающего клиента. Тогда старик Минин из гранитного памятника сразу же превращается в бесправного босяка.

Феликс босяком отнюдь не был. Ни раньше, когда работал слесарем на механическом заводе, ни позже, когда ушёл в коммерсанты. Наверное, только такие люди и остались теперь в городе. Гордые, независимые, отчаянные, но не отчаявшиеся.

Хозяин кабака очень гордился тем, что никому и никогда не платил за крышу. С самого начала он поставил дело так, как его ставили полутора веками раньше на фронтире будь то в Америке или Сибири. Он завёл дробовик и обещал положить любого, кто предложит ему оплатить спокойствие. Так что местный рэкет решил не лезть на рожон. Бандитам тоже хотелось где-то спокойно выпить, они тоже понимали суть водяного перемирия и заведение Феликса однажды объявили экстерриториальным. Здесь назначались стрелки, совершались сделки и проходили тёрки. Позже карательные органы перестреляли и пересадили бандитов, взяв доходы с рэкета на себя. Но и у них с Феликсом не заладилось.

Знакомым ментам в неформальной обстановке он намекнул, что если их продажные друзья не оставят его в покое, он (дурак ведь, из пролетариев, рабочая кость) взорвёт мэрию или новый путепровод или ещё что-нибудь в этом роде. Но обязательно что-нибудь крупное, весомое, политическое, чтобы следствие по резонансному делу не доверили местным крысам, а поручили кому-нибудь важняку из Москвы. И уж тот докопается до подлинных причин и не станет покрывать здешнюю мелочь, так разворошит их осиное гнездо, что мало никому не покажется.

Феликса, конечно, могли закрыть по какому-нибудь вздорному поводу, как многих строптивых коммерсантов до и после него, или даже пристрелить как бы случайно, списав труп на криминальные разборки, но неожиданно оставили в покое. То ли не захотели связываться, то ли оставили про запас. Возможно, ему просто повезло. Однако везение, как отметил Ухтомский, не приходит само по себе, оно обязательно подкрепляется характером, стержнем и только благодаря таким упрямам как Феликс всё окончательно и не рухнуло в пропасть.

Как напоминание о старых добрых гангстерских временах на стене за баром до сих пор висело ружьё. Оно так и не дождалось последнего акта. Феликсу не довелось пустить его в дело. Репутация хранила бизнес лучше свинца.

В этот вечер все разговоры в кафе, так или иначе, крутились вокруг неожиданно открывшегося асфальтового бизнеса. Слухи распространялись теперь быстрее чем раньше. Люди покидали город, ойкумена съёжилась как шагреновая кожа. Вчера ещё незнакомые люди быстро сближались, и сулящее заработок дело становилось общим достоянием. По причине всё той же торговли асфальтом кабак оказался переполнен посетителями. Многие впервые за долгие дни получили шальную прибыль и пожелали её спустить.

Феликс был доволен и благодушен. Казалось, ему доставлял радость не столько возможный доход, сколько людское столпотворение.

– Что думаешь об этом? – спросил хозяина Чё, заказав для начала чешского пива.

Феликс усмехнулся.

– Чего мне думать, у меня кабак, – сказал он, сжегивая пиво в бокал. – А как мудро подметил кто-то из заокеанских писателей – во время золотой лихорадки умнее всего не столбить участки, но продавать тачки с заступами, торговать жратвой, ну, или вот выпивкой.

– Джек Лондон? – проявил эрудицию Чё.

– Возможно, – хозяин равнодушно пожал плечами. Он оценил идею, а не авторство.

Чё получил пиво, а Ухтомский заказал кофе по-турецки. Феликс засыпал пригоршню зёрен в обычную бытовую кофемолку, та затрещала, и разговор сам собой прекратился. А потом как-то никто из них не потрудился его возобновить. Феликс засыпал кофе в джезву или турку, как её называли в городе, добавил три чайные ложки сахара (он знал вкусы завсегдаев и Ухтомскому сахар клал перед варкой), залил водой, а Чё, присмотрев тем временем, свободный столик поближе к подиуму, туда и отправился.

Поскольку ещё на этапе строительства Феликс постоянно ожидал наездов со стороны рэкета или власти, он не особо вкладывался в обстановку. Массивные деревянные столы и стулья были куплены им по остаточной стоимости у советской ещё пельменной, которая решила зачем-то сменить старую добротную мебель на современную – ажурную и хрупкую, как пластиковые стаканчики, и, на взгляд Ухтомского, такую же, как и пластиковые стаканчики, пошлую. Барную перемышку Феликс соорудил сам из старой мебели, а полки и подиум на котором стояло старое пианино, сбил из обычных досок.

Аскетическая обстановка, минимум ассортимента и умеренные цены – всё это Ухтомскому нравилось чрезвычайно. Феликс не обустроивал кабака специально под Дикий Запад, как-то так само собой у него получилось и пришлось очень к месту, когда мир изменился, а мощный промышленный центр превратился в заброшенный городок среди прерий, возникших на месте запущенных колхозных полей. Вот тут уж Феликс поймал удачу. Это оказалась его эпоха, а в прежней он будто по ошибке родился. И вот теперь, проблуждав и попав куда нужно, развернулся. Он перестал платить налоги, завёл азартные игры и открыл торговлю контрабандным грузинским вином.

С платёжеспособностью клиентов, правда, возникли проблемы, а кредита Феликс не признавал в принципе. Зато он брал в уплату любые вещи, имеющие хоть какую-то ценность и намёк на ликвидность, независимо от их происхождения.

Единственной серьёзной покупкой стало антикварное немецкое пианино Мекленбург, тёмно-коричневое с резьбой, инкрустацией и покрытыми патиной подсвечниками. Таких роскошных старинных вещей в городе много быть не могло просто из-за его молодости. Сюда ведь приезжали добровольцы, багаж которых составляли ценности скорее идеологические, чем материальные. Но Феликсу приспичило, а искать он умел. Один полковник из ближайшей танковой части обзавелся трофеем в Германии. Не во время войны, конечно, а во время службы в Западной группе войск. Феликс перекупил раритет, когда дела в армии пошли не так гладко.

Несмотря на длительную реставрацию и героическую работу настройщика, пианино звучало нестройно. Однако для основного репертуара – регтаймов и блюзов – дребезжание помехой не являлось и даже напротив придавало атмосфере салуна ещё большую достоверность. Она получалась настоящей, живой.

К слову, живая музыка до сих пор редко звучала в городе. Он возник в эпоху винила, магнитных лент, скверных колонок и самодельных усилителей. Здесь больше любили бобины, кассеты и пластинки, чем, скажем, концерты, тем более что и заезжие второсортные звезды из всех искусств важнейшим считали фонограмму.

Что до живых звуков, то в прежние времена они в больших количествах долетали из окон местной музыкальной школы – окон, словно нарочно распахнутых настежь в любую погоду. Бесконечно повторяющиеся гаммы пронзали души прохожих подобно гамма-излучению, а робкие попытки учеников подражать классикам не способны оказались привить кому-либо из прохожих любовь к музыке. Так что квартал, где располагалась школа, горожане старательно обходили стороной. В пятиэтажках с их тонкими стенами, музыкальные экзерсисы под давлением общества тоже стихали быстро, а ведь имелась ещё в городе всевозможная художественная самодеятельность и полковой оркестр той самой выведенной из Германии танковой части, но никому из них не удалось пробудить в окружающих чувство прекрасного. И только

с появлением у Феликса в кабаке ветхого Мекленбурга живая музыка стала по-настоящему привлекать и завораживать простых людей. А быть может, дело было не только в музыке.

За инструментом всегда сидела одна и та же женщина. Невысокого роста, худая с пепельного цвета короткими волосами. На вид ей было лет тридцать, но в этом возрасте внешний вид часто бывает обманчив. Она чередовала тёмно-синее платье с вишнёвым, иногда очень редко появлялась в белом. И тогда посетители гадали, что за торжество приключилось у пианистки, так как с общими праздниками такие дни обычно не совпадали.

Её платья не были концертными или вечерними, скорее их можно было бы назвать выходными или деловыми, в каких появляются обыкновенно на важных встречах или на свиданиях, и в салуне именно такие смотрелись уместно. Всё чересчур роскошное в непритязательной обстановке выглядело бы китчем и разрушило бы атмосферу дикого запада.

Никто не знал её имени, никто не слышал её голоса. Она не разговаривала, не пела. Но как же прелестно она играла! Играла вдохновенно, однако, явно не выкладывалась в полную силу и этот скрытый потенциал чувствовался любым профаном; легко играла, не в тягость – в удовольствие. Звучали обычно Джоппин, Гершвин, кто-то ещё из американцев; звучали регтаймы, блюзы, из которых Ухтомский сумел определить лишь относительно известные «Кленовый Лист» и «Саммертайм», но и остальные мелодии были отдалённо ему знакомы, просто слабая эрудиция не позволяла вспомнить названия.

Репертуар эпохи немного кино – эпохи никогда не царившей в городе, в силу его юного возраста, но вот как-то проникшей вдруг из прошлого, просочившейся сказочным отражением волшебного фонаря с живыми картинками вместе с подходящим по возрасту пианино и его дивными дребезжащими звуками.

«Молчаливая женщина любила такие же молчаливые фильмы?» – задавался вопросом Ухтомский. – «Или она сама попала сюда из прошлого?»

Обычно она играла около часа, прогоняя почти всегда одну и ту же программу, а затем брала перерыв.

У неё был собственный небольшой столик рядом с подиумом, и он всегда был застелен скатертью под цвет её платья. На скатерти стоял массивный бронзовый подсвечник на две свечи, такая же тяжёлая на вид пепельница, а на спинке стула висела дамская сумочка.

За клавишами она не курила, но когда садилась за столик, таскала сигареты из маленькой мятой пачки, точно белка орешки. Она курила обязательно «Кэмел» и непременно без фильтра – такой здесь почему-то называли сержантским – вставляла в короткий наборный мундштук, прикуривала от бензиновой зажигалки. И высасывала сигареты одну за другой, пока Феликс не ставил перед ней чашку кофе. А тогда её внимание переключалось.

Кофе она пила так, как замёрзшие почти до анабиоза люди пьют горячий чай. Сутулясь, склоняясь над столиком, точно лоя телом ускользящее от чашки тепло, а саму чашку обнимая обеими руками плотно, без единого просвета.

Вечером Феликс ставил на её столик заранее откупоренную бутылку тёмно-красного вина – непременно контрабандного «Мукузани», наливал немного в бокал, зажигал свечу. И тогда она выпрямлялась, точно превращалась в породистую аристократку, и, делая короткие глотки, смотрела поверх бокала сквозь посетителей, и дальше сквозь стены и через город, куда-то за горизонт, а Ухтомскому чудилось, что она смотрит туда же куда и он. В самую дальнюю даль. И где-то там их взгляды встречаются, не узнавая, впрочем, друг друга.

Необычная была женщина. Восхитительный призрак из снов. Женщина – загадка, если не понимать это слишком банально. Парадокс заключался в том, что никто не стремился её разгадать, даже не помышлял об этом. Женщиной просто любовались, наслаждались её игрой. Её любили каждый по-своему, тайно, внутри себя.

– Она как эскиз, – догадался вдруг Чё. – Мы ведь про неё ничего не знаем, даже имени, а она всегда молчит и тем самым даёт простор для воображения. А потому каждый дорисовывает образ под свой идеал. Кому чего не хватает, тот то и дорисовывает.

– Чего же не хватает тебе, Чё? – спросил Ухтомский, в очередной раз поражаясь, как часто совпадали их мысли.

– Не знаю даже. Я порой скучаю по жене. Она сука, конечно. Удрала с этим волосатым уродом. Но мне было с ней хорошо.

Ухтомский по жене не скучал. Не случилось в его жизни такого мелодраматического поворота, как жена. А пианистка напомнила ему одну девушку, с которой он встречался когда-то давным-давно. Когда ещё работали фонтаны, и цвела черёмуха, в кинотеатрах показывали фильмы, а не торговали тряпьем. Это было увлечение из тех, что внезапно возникают и неожиданно прерываются, но остаются при этом в памяти, лишь постепенно трансформируясь с тоски безнадёжной к тоске приятно щемящей.

Даже домосед Клейнберг иногда появлялся в заведении Феликса. Всегда в одном и том же старом, но выглаженном костюме тёмно-серого цвета, в белой рубашке и сером в синюю полоску галстуке. Он заказывал двести грамм дагестанского коньяка, не от любви к именно этому производителю, но полагая наивно, что уж дагестанский-то нынешние ушлые коммерсанты не догадались фальсифицировать. К коньяку старик брал лимон, тонко порезанный, выложенный в блюде кольцом, и, растягивая редкое по нынешним временам удовольствие, сидел так час или два. Он слушал музыку, благодушно принимая репертуар, и любовался женщиной-эскизом. Кого она напоминала ему? Жену или любовницу, а может быть ту молодую сотрудницу службы социального обеспечения, что заглядывала к нему раз в месяц. Про жену старика Ухтомский ничего не знал, но слышал краем уха, что в молодости у Кленберга было много женщин. Он был красавчиком, этот Клейнберг, жгучим южанином с ослепительной улыбкой и чуть утрированными манерами идадьго, отчего его часто принимали почему-то за армянина.

На самом деле Клейнберг был классическим советским евреем, обитающим в отрыве от крупных масс соплеменников, вдали от Одессы и Бердичева, столичных городов и научных центров. Он не знал ни иврит, ни идиш, не верил ни в бога, ни в чёрта. Не верил, впрочем, Клейнберг и в коммунизм, что не помешало ему, окончив институт, отправиться по комсомольской путёвке, построить город и всю жизнь проработать на местном заводе. Он пил водку и поедая свинину, коллекционировал пластинки «на рёбрах» и собирал книги, любил женщин и хорошие компании. Он был весёлым человеком и шутил по любому поводу, всегда, однако, чувствуя грань, за которой юмор становился или безвкусным, или опасным. Он шутил до тех пор, пока не вышел на пенсию. А тогда Клейнберг шутить перестал.

И дело было не в возрасте и не в изменении жизненного ритма, когда прекратились в одночасье ночные звонки, авралы, срочные командировки, но вместе с тем ушло и осознание собственной значимости, сопричастности к какому-то великому процессу. Нет, Клейнберг вполне доволен был заслуженным отдыхом, не переживал из-за отставки, и никакие стариковские болячки не мешали ему наслаждаться покоем и праздностью. Но так совпало, что с его уходом на пенсию изменилось само время и это стало куда более важной причиной уныния, чем просто ностальгия по старым добрым временам. Город катился к упадку, медленно умирал, и Клейнбергу – единственному, наверное, старожилу, приложившему руку к его возведению, стало тоскливо.

Раньше на этом месте простирался огромный песчаный массив. Властитель прежней эпохи – огромный ледник – испустил здесь последний протяжный вздох, растянутый на многие тысячи лет, и весь материал, наработанный за века ледяными жерновами, остался лежать неровными грядами и кучугурами, не похожими ни на береговые дюны, ни на барханы пустынь – неподвижными, замершими во времени и пространстве.

Долгое время песок был единственным хозяином и подлинным проклятием этих мест. Мало какое животное находило здесь пристанище и пищу и мало какое растение могло укрепиться на столь ненадёжной поверхности. Лишь сорная трава торчала пучками, редкими и неаккуратными, как бороды карикатурных дьячков.

Когда сюда пришли люди, чтобы построить город, песок стал их главным врагом. Он калечил оборудование и портил смазочные материалы, сдирал краску и набивался в пазы, заметал дороги и заносил только что отрытые котлованы; песок мешался с крупами, мукой, лез в тушёнку, сгущёнку, хрустя и скрипя на зубах первопроходцев.

Но у людей была великая цель и великая мечта. Они не собирались отступить из-за такой чепухи как хрустящий на зубах и шестерёнках песок. Они пели песни про полярные тундры и сибирскую тайгу, про железные дороги и гигантские плотины, они ставил палатки, жгли костры, смеялись и любили друг друга.

Против мечты песок устоять не мог.

Мечтатели повели наступление широким фронтом. Улицы и дороги появились раньше домов и заводов. Клинья асфальтовых трасс рассекали песчаный массив, сковали сыпучие склоны бетоном и он, растерзанный на сотню частей, утратил прежнюю силу.

Город получился компактный, экономичный, функциональный. Пожалуй, какой-нибудь из столичных жилых массивов превосходил его и размерами и численностью населения. Но в спальный район новый город всё же не превратился. Весь его центр был застроен в имперском стиле. Даже радиально-кольцевая система была скопирована со столицы и перенесена сюда, так что появилось здесь и своё бульварное кольцо, на самом деле состоящее из бульваров, и то, что можно было бы обозвать кольцом садовым, попадись там хотя бы один сад. Поставили в городе и собственные высотки. Правда они насчитывали не более шести этажей, а всевозможные пилястры, карнизы, колоннады, балюстрады, фронтоны, украшающие здания, выглядели несколько карикатурно.

На подлинный величественный ампир, или, говоря по науке – неоклассицизм, у строителей не хватило ни мрамора, ни гранита. И поэтому в ход шёл всё тот же покорённый песок, из которого готовили и бетон, и цемент, и силикатный кирпич, а потому великолепие портиков и башенок после затяжных дождей или крепких морозов осыпалось под ноги прохожих, а стены быстро приобретали потасканный и обшарпанный вид.

Но строители не унывали. Фасады регулярно подновлялись, а наступление на песок продолжалось. Люди не ограничились архитектурой, они дерзнули вовсе изменить окружающий ландшафт и засадили песчаные пустоши лесами.

Странные эти посадки выглядели лесами лишь издали. Стоило подойти ближе и взглянуть с определённого ракурса, как лес открывался точно жалюзи в солнечный день и представлялся наблюдателю чередой искусственных грядок с ровными и равными сосенками. Мечтатели механизировали выращивание лесов и добились успеха, но за всё приходилось платить. Знаменитые лесные пожары семьдесят второго шли по таким посадкам как по пороховым дорожкам и, добираясь до отдалённых торфяных ям, превращали их в огненные ловушки, где исчезали люди, автомобили, а однажды сгинул целый танк, пришедший на подмогу пожарным.

Всё вокруг полыхало, улицы заволокло дымом, но построенный на песке город тот давешний пожар не затронул. Песок, пленённый и униженный, сам того не желая, защитил поработителей от огня.

А люди, отдышавшись от гари, расчистили место и посадили новые тысячи сосенок такими же нелепыми в своей правильности грядками. Люди мечтали о настоящем лесе когда-нибудь в будущем, а пока довольствовались тем, что имели.

Так или иначе, песок был повержен. Он сохранил власть кое-где на окраинах, затаился, прикинулся полезными для строительного дела карьерами или безобидными горками, с которых приятно скатываться на лыжах зимой. Он отступил, но не уступил и, скорее всего, ждал момента для мести.

А ждать он умел. Песок ведь не зря во многих культурах почитается символом времени, и более того – символом вечности. Это он перетекает из конуса в конус в песочных часах, он стирает следы людей и животных, уничтожает целые города и страны. А ещё песок – хранитель истории. Свойства его таковы, что, будучи воплощением хаоса, он одновременно является превосходно организованной структурой. А потому, погребая под толстым и с виду бесформенным слоем украденные у различных эпох артефакты, песчинки складываются над добычей в невидимые арки. Они не позволяют раздавить артефакты собственной массой, вытягивают влагу и перекрывают доступ воздуха, тем самым, останавливая тление.

Люди, что пришли сюда и построили город, готовы были бросить вызов и хаосу и времени и самой вечности. И возможно они победили бы.

Но однажды произошёл сбой.

Именно сбой в алгоритме, программе или системе является вернейшим признаком дерьма, если описывать сей феномен при помощи понятийного аппарата логики или языком математики. Ошибка произвольная, случайная, непредсказуемая; ошибка, не вызванная известным внешним воздействием или внутренней логикой системы – вот что следует считать ключевым признаком проявления копрона, а стало быть и его естественным детектором.

Если перевернуть хорошенько историю науки, пересмотреть многочисленные отчёты и популярные статьи, то подобных сбоев можно найти великое множество и практически во всех областях знаний. В идеальных и правильных кривых возникают вдруг странные, непредусмотренные теорией зазубринки, выходящие за пределы экстремумов, а давно отработанные тесты время от времени дают результаты, которые невозможно интерпретировать.

Учёные предпочитают пенять на недосмотр ассистентов, на грязные пробирки, артефакты фотопластинок, паразитные токи и необъяснимые флуктуации. Необъяснимые всеми, но не Ухтомским. Он-то пришёл к верному заключению и предсказал частицу, ответственную за все косяки Вселенной.

Но косяк косяку рознь. Не всякий сбой приводит к катастрофическому результату и не всякая катастрофа выглядит таковой для всех. Кому-то она напротив даёт шанс расцвести. Некоторые из косяков, между прочим, породили и эволюцию. Ибо именно ошибка копирования наследственной информации давала импульс к развитию. Сбой системы однажды породил и самую жизнь, включая утконоса, кенгуру и жирафа, а позже ещё один сбой породил и разум. Из тезиса, кстати, следовало, что обычное органическое дерьмо дерьмом-то как раз и не является, ибо возникает оно в полном соответствии с заданной физиологией программой.

Гипотетическое предположение давало хорошую основу для дальнейших интерпретаций и, что важно, перекидывало мостик из космологии в гуманитарную сферу, где помимо прочих сомнительных дисциплин обитали и мутные религиозные концепции.

Ведь грех – есть ничто иное, как сбой в моральной программе, а правонарушение – есть сбой в программе социальной. Сбой в историческом процессе приводит к революции, которая в таком случае оказывается тождественна эволюции в биологии.

Некоторое время Ухтомский пребывал в наивной уверенности, что уже достал из шляпы искомого кролика. По крайней мере, показались длинные уши, и не было оснований полагать, будто они принадлежат, скажем, ослу.

Ухтомский ошибся. Можно даже сказать ошибся жестоко. Его тезисы не понравились людям из Ватикана. Мало того они вызвали резкое неприятие ведущих экспертов-теологов. Святой престол, как ему объяснили всё те же дизельные посланцы, совершенно не устраивало предположение, будто зарождение жизни, тем более разума, есть следствие нелепой ошибки. Более того – ошибки дерьмовой. Эти парни до сих пор отождествляли дерьмо со злом.

– Вселенная не симметрична, – сообщил им Ухтомский. – Антивещества в ней меньше чем вещества обычного, а левовращающихся аминокислот больше, чем правовращающихся. С точки зрения обыденной логики симметрия естественна, а всякое её нарушение – патология. Асимметрия могла быть вызвана только сбоем. А сбой только копроном. Что и требовалось доказать.

– Нарушение симметрии вполне объясняется и бозоном Хиггса, – заметил один из собеседников.

Проклятье! Он не рассчитывал на такой уровень знаний у простых посыльных.

– Нет, джентльмены, или вернее, монсеньоры, – нашёлся Ухтомский. —Бозон Хиггса вызывает нарушение только так называемой суперсимметрии. Я же предлагаю концепцию частиц вызывающих сбой в любой системе.

– Вы всё же не поняли, – возразил всё тот же собеседник. – Заказчика не устраивает этот ваш стихийный креационизм или как вы его там называете?

Они беседовали между прочим в заведении Феликса и хозяин делал вид, что не прислушивается к чужому разговору, но иногда будто порывался что-то сказать, как отличник, что порывается подсказать ответ приятелю-троечнику.

На этот раз дизели явились в подходящих служителям веры одеждах, хотя говорили по-прежнему с интонацией гангстеров.

– Вероятно, мы вынуждены будем прекратить наше сотрудничество, – сказал второй из визитёров, который до сих пор молчал.

– Если только... – начал третий, намекая интонацией на некое альтернативное решение.

– Если только что? – уцепился Ухтомский.

– Если только, вы не дадите иную интерпретацию, – завершил мысль первый дизель. – Таковую, какая в полной мере удовлетворила бы заказчика.

Боязнь оказаться без средств к существованию заставила Ухтомского резво пошевелить мозгами. Он уже вывел для себя аксиому, что основа всякого фандрайзинга, тем более научного, – обещать не то, что ожидаешь получить на выходе ты, а то, чего ожидает от тебя донор. И раз уж копросфера вызывала такую неприязнь Ватикана, следовало измыслить нечто противоположное ей. Но что? Сущность, которая сопротивляется сбоям и ошибкам, которая стоит над схваткой? Пожалуй, что так. И подобная сущность у Ухтомского в запасе имелась, хотя до сих пор он рассматривал её вовсе не в рамках проекта.

– Великий Аттрактор, – произнёс он едва дыша.

– Расскажите нам о Великом Аттракторе, – одобрительно кивнул первый дизель.

– Это мощнейшая гравитационная аномалия, монсеньоры, которая расположена в созвездии Наугольника, или Нормы по-вашему, по-латинскому. Не буду сейчас вдаваться в скучные подробности, но по моим предположениям аномалия находится в некоем резонансе с копросферой. Мало того, являет собой в определённом смысле её противоположность.

Несложной словесной эквилибристикой, Ухтомский собирался впарить папе Великий Аттрактор за искомое божество. Но парни оказались сообразительнее, чем он полагал.

– Это не вариант, – заявил немного разочарованно второй дизель. – Аномалия нас никак не устраивает. Поймите же, Ухтомский, искомая нами сущность не может оказаться ни ошибкой, ни аномалией, ни флуктуацией. Мы ищем нечто всеобъемлющее, основополагающее. Почитайте на досуге теологическую литературу, в конце-то концов.

Ухтомский поморщился. Гости ждали.

– Антикопрон, – выложил он последний козырь.

– Так! – кивнул третий дизель. – Уже теплее.

– Я исхожу из той простой логики, монсеньоры, что у каждой частицы есть антипод, – спешно пояснил Ухтомский. – А раз так, то должен он быть и у копрона.

Новый поворот в теме вроде бы удовлетворил эмиссаров Ватикана, по крайней мере, они передали Ухтомскому очередной чек. Правда тут парни попали в плен дихотомического мировоззрения, посчитав, что раз уж он антикопрон, то и пахнуть обязан ландышами. На самом деле ничего подобного из объяснений Ухтомского не следовало. То что аннигилирует с дерьмом вовсе не добродетель. Это такое же точно дерьмо, просто с обратным знаком. И оценки морально-этические тут неправомерны. Математика равнодушна к этике.

Так или иначе, Ухтомскому опять удалось провести Ватикан. И муки совести, как это случалось раньше, его теперь не терзали. Нельзя приготовить яичницу, не разбив яйцо.

Клейнберг готовил яичницу, разбивая яйца по старой привычке сперва в стакан, и только потом, изучив содержимое на просвет и понюхав, выливал разом на сковороду. Тухлых яиц не попадалось ему уже много лет, но привычка, как говорится, вторая натура.

– Будете? – с явной неохотой предложил он.

– Нет, – поспешно ответил Ухтомский, хотя, услышав вопрос, сразу почувствовал голод.

Впрочем голод пропал, как только кухню наполнил чад от пригоревшего масла. Сосед любил хорошо прожаренное блюдо.

Он поедал омлет медленно, тщательно пережёвывая каждый поддетый вилкой кусок и ничуть не смущаясь присутствия гостя. Затем он убрал сковороду в мойку, плеснул на неё кипятка из чайника, и, достав из шкафчика две крупные чашки, вопросительно посмотрел на гостя.

Отказаться от чая Ухтомский не смог. Старик умел выбирать и заваривать чай. Знал в этом толк.

– Кто-то скупает битый асфальт, – сообщил Ухтомский, сделав пару глотков. – Боюсь, скоро бомжи разворотят все улицы.

– Всё растащили, – вздохнул Клейнберг. – Всё прахом пошло.

– Да уж, – поддакнул Ухтомский.

– А ведь какая страна была! Боже мой! Пока из неё евреи не уехали!

– Кхм, – поперхнулся чаем Ухтомский. – Я думал, были и другие причины.

– О чём вы говорите?! – старик прервал восклицание и пристально посмотрел на гостя. – Вы что, заделались антисемитом? Как этот ваш саблезубый революционер?

– Чё не антисемит, – заступился за приятеля Ухтомский. – Просто его иногда заносит. А я... я вырос на песнях Высоцкого, книгах Стругацких и учебниках Перельмана. Как я могу быть антисемитом?

– Молодой человек, – грустно и даже укоризненно произнёс Клейнберг. – Знали бы вы, сколько теперь встречается антисемитов, выросших на Перельмане, Стругацких и Высоцком. Особенно в последнее время. Особенно в последнее...

Они помолчали, проклиная про себя неладное время.

– Асфальт принимает китаец. Зовут Хай Вэй, – вернулся к теме Ухтомский.

– Хайвэй? – усмехнулся Клейнберг. – А что? Подходящее имя для скупщика асфальта.

О китайцах он мог говорить спокойно, не дёргаясь, и даже делать некоторые обобщения. Старик вообще любил размышлять на отстранённые темы.

– У нас боятся китайцев и восхищаются Китаем, – сформулировал неожиданно он. – В то время как всё должно бы было обстоять с точностью до наоборот. Китайцы обладают трудолюбием и предприимчивостью, Китай обладает ядерным оружием и национально-освободительной армией. Почему мы боимся трудолюбия больше армии?

Удовлетворив таким образом страсть к обобщениям, Клейнберг перешёл к конкретике.

– А что если они производят из асфальта, например, нефть? – предположил он. – У них ведь нехватка нефти. Растущая экономика и всё такое. Вот они и скупают асфальт. По сути что такое асфальт? Это всё те же углеводороды, только состоящие из длинных молекул. Их нужно расщепить на молекулы поменьше только и всего.

Старик знал, о чём говорил. Именно он в своё время придумал, как с помощью нехитрого приспособления из бросового полиэтилена получать качественный этанол. Нобелевскую премию Клейнберг, конечно, не получил, но все окрестные бомжи признали его авторитетом, хотя сам старик бомжей весьма и весьма недолюбливал.

– Крекинг! – проявил познание в вопросе Ухтомский. – Но ведь это крайне невыгодно, получать нефть из асфальта!

– Бросьте! У китайцев много дешёвой рабочей силы и энтузиазма. Они любой бизнес сделают рентабельным. Собери миллион китайцев, приставь к работе и дело пойдёт.

– Но сколько бы их не собрать, они же не будут раскалывать молекулы вручную, с помощью зубила и молотка?! – Ухтомский представил, как это могло бы выглядеть, и улыбнулся.

– Кто знает, кто знает, – благодушно отмахнулся Клейнберг. – Но и недооценивать их не стоит. Они умеют работать. И умеют ждать. Как говорится, если долго плыть по течению, то проплывёшь мимо сидящего у реки китайца.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.